



# К истории возникновения семиотики



ФАНТАСТИКА

**Алексей Карташов**

В первый раз я услышал это слово при внешне невинных обстоятельствах.

Была летняя практика после первого курса, под Москвой, на биостанции Чашниково. Однажды на выходные приехали к нам гости, уважаемые патриархи с третьего курса и даже непостижимо старый (ему уже стукнуло двадцать пять!) великолепный Дима Орленев, выпускник прошлого года, стажер на кафедре орнитологии (название должности прямо как у Стругацких), с медальным профилем и небрежными кудрями.

Мы отправились на речку, через экспериментальные поля с какими-то редкостными гибридами, валялись на берегу, пили пиво, привезенное из Москвы дорогими гостями, болтали о чем-то, и уже не припомню даже, с чего начался этот разговор. Кажется, кто-то рассказал анекдот с нехорошим словом, девушки выразили недожество, и Орленев вступился за рассказчика.

— Милые барышни, — произнес он своим неподражаемым бархатным голосом, — это ведь семиотический анекдот.

— Какой? — недоуменно спросили барышни.

— Семиотический. Есть, знаете ли, наука, которая в том числе занимается и такими словами.

— Это что же, наука о матерных словах? — любопытно спросил друг мой, будущий отец Владимир.

— Эх, Вовка, — отвечал Орленев покровительственно, — не так все просто. К примеру, сколько ты знаешь матерных слов?

— Я — все! — возмущенно отвечал будущий о. Владимир и под смех прочих бездельников перечислил свой запас, не стесняясь девушек, которые, впрочем, демонстративно закрыли уши.

— Неплохо для твоих лет, — одобрил его Орленев (Вовка был неприлично юн, на год младше остальных, и очень злился, когда ему напоминали об этом). — Итого где-то десяток, да? Казалось бы, ерунда — десять слов. А теперь прикинь, сколько разных смыслов можно выразить этими словами! Был я тут на семинаре в Тарту, там упомянули такую фразу. — Тут Орленев, извинившись, фразу воспроизвел. — Словарь минимальный, а какое богатство смысла!

Мы посмеялись, повспоминали еще какие-то простонародные выражения, однако все-таки больше всего нам понравилось звучное слово «семиотика». Оно еще довольно долго потом было у нас эвфемизмом: «Он был пьян и семиотически выразился».

Прошло черт знает сколько лет. Я уже давно знал, что семиотика занимается знаками и символами, — не я

один, разумеется, словцо стало модно вставлять куда ни попадя, особенно после выхода книг Умберто Эко. И вот однажды был я в гостях у моего недавно счастливо найденного дядюшки и вместе с ним отправился в местный знаменитый Йельский университет на экскурсию, а заодно — познакомиться со светилом американской семиотики профессором Горчичем.

Надо сказать, что дядюшка — человек необыкновенной судьбы. Все рассказать про него невозможно, но лет через десять после войны он защитил диссертацию у Якобсона, а во время, о котором я веду речь, заведовал кафедрой славистики в том самом университете. Был он уже сильно немолод и собирался на пенсию, но еще читал лекции и руководил аспирантами.

Университет мне понравился чрезвычайно, хотя он был совсем не похож на родной МГУ. Между лужаек были разбросаны старинного, даже готического вида замки, под деревьями валялись расхристанные студенты, читали толстые книжки, ели бутерброды, целовались и тому подобное. Попетляв между строениями, мы вошли в одно из них и поднялись на второй этаж. Дядюшка увлеченно показывал на потемневшие портреты знаменитых лингвистов, настолько знаменитых, что иных я даже знал по фамилии; впрочем, мне было интересно все — и сводчатые потолки, и витражи, и молельная комната, и мало-понятные скульптуры, видимо, работы Мура.

Так, не спеша брели мы по длинному коридору, когда вдруг из-за угла навстречу нам выплыла странная фигура в темном неприметном одеянии.

— Профессор, — обратилась к дядюшке фигура (собственно, это был молодой человек, бледный, темноволосый и какой-то невыразительный), — могу ли я попросить вас об одолжении?

— Да, да, разумеется, — отвечал дядюшка. Он вообще человек крайне доброжелательный, отчего постоянно становится жертвой различных сомнительных личностей, но тут, разумеется, никакой опасности не было.

— Не могли бы вы передать эту папку профессору Горчичу? Я его аспирант, но не могу его дождаться, а мне бы хотелось обязательно... — И он понес что-то сбивчивое, однако дядюшка уже протянул руку за папкой, и странный молодой человек, вежливо поклонившись, вручил ее и исчез, даже не могу вспомнить, в каком направлении.

Профессор Горчич был милейшим человеком с седой эйнштейновской шевелюрой, свободно говорил на всех мыслимых языках и совершенно меня заболтал. Я узнал его биографию, историю Балкан за последние сто лет, а также массу анекдотов об основоположниках семиотики, особенно о Якобсоне, у которого он тоже был аспиран-

том. Знал он и Проппа, и Лотмана, и даже успел застать Кассирера и слушал его лекции. Мы некоторое время сидели в кабинете Горчича, однако затем по его настоянию отправились в местную трапезную вкушать ланч. Я, проголодавшись, уминал здоровенный многоэтажный бутерброд, а профессор, как-то мгновенно прикончив пару ломтей пиццы, продолжал свои удивительные рассказы.

— Знаешь, Душан, — прервал его наконец дядюшка, — при свидетеле тебя еще раз призываю: напиши ты, ради Бога, мемуары! Ведь ты, по-моему, знал вообще всех интересных людей двадцатого века. В конце концов, наука у нас молодая, и даже истории ее еще не написано. Ты имеешь шанс стать первым историографом, подумай об этом!

— Да, это заманчиво, — согласился Горчич. — Как там у твоего Ленина — «Три источника и три составные части марксизма»? — И захотел так, что какой-то чернокожий студент в тонких очках, по виду из Африки, скорбно посмотрел на него и покачал сочувственно головой. А я живо вспомнил отца Владимира.

— По-моему, я просил тебя не приписывать мне вашего Ленина! — вскипел дядюшка. — Ты же знаешь, что мои родные состояли в Бунде и они были принципиальными противниками большевиков! — Тут Горчич притворно извинился, причем было заметно, что подобные перебранки происходят у них нередко. Затем Горчич обратился ко мне: — Вы будете поражены, молодой человек, но никто ничего толком не знает о происхождении семиотики. Конечно, — он остановил меня предостерегающим жестом, — пишут всякое, но до корней еще никто не докопался.

Я все же смиренно спросил: а как же Пирс, де Соссюр, Потенция и прочие уважаемые ученые — разве не числим мы их отцами-основателями семиотики? Горчич только махнул рукой:

— Поверьте, не все так просто. Мы с вашим уважаемым дядюшкой внимательно их читали, пришлось в свое время попотеть, Якобсону на халяву — я правильно употребляю это выражение? — экзамен было не сдать. Материала накопилось к началу двадцатого века много, а основной идеи, вокруг которой все начало бы кристаллизоваться, не было. И вдруг через какое-то время появились вполне зрелые работы, как будто прорвало плотину. Но первоисточника найти не удается. Знаете, бывают такие работы, которые все цитируют.

Я понимал, конечно, о чем он говорит: о трудах вроде «Происхождения видов» или «К электродинамике движущихся тел», на которые ссылаются сначала немногие прочитавшие и понявшие, а потом уже все, просто из соображений приличия.

— Так вот, — продолжал Горчич, — в семиотике такого труда нет. А ведь, согласно законам самой семиотики, должен быть! Тут какая-то загадка. Такое впечатление, что все авторы, особенно русские начала двадцатого века, прочитали что-то основополагающее, но не цитируют. Уж очень сходные мысли появляются почти одновременно. И почему бы не указать источник, из элементарной научной порядочности? Не понимаю, хоть ты тресни! — Он опять заметно разволновался, махнул рукой и отправился за новой порцией пиццы.

Когда он вернулся, жуя на ходу, дядюшка наконец вспомнил о папке, которую во все время разговора держал в руках, и протянул ее коллеге.

— Что это еще такое? — страдальчески спросил Горчич, видимо, просто чтобы потянуть время и дожевать кусок.

— Это тебе просил передать твой аспирант примерно час назад, извини уж, я совсем забыл за беседой.

— Позволь, как это может быть? — Горчич присел на краешек стула и отправил в рот остатки пиццы. Теперь он чувствовал себя не в пример увереннее и протянул руку за папкой. — У меня всего три аспиранта, и я их всех послал на конференцию в Сорбонну!

— Не знаю, не знаю, — отвечал дядюшка твердо, — так он представился, и у меня не было никаких оснований ему не доверять. Может, ты, как обычно, забыл кого-нибудь послать или у тебя есть четвертый аспирант?

— И имя нигде не указано, что за странная манера! Ладно, не важно, — решил Горчич, бегло проглядев содержимое папки. — Тут какой-то обзор литературы, мне все равно некогда этим заниматься, я завтра тоже уезжаю в Париж. Не в службу, а в дружбу — может, ты прочитаешь пока?

Дядюшка, вздохнув, согласился, и вскоре мы расстались с профессором Горчичем.

Вернувшись домой, мы еще поговорили о разном, перескакивая с темы на тему, а затем дядюшка отправился редактировать горящую статью. Мне же он, наполовину в шутку, предложил просмотреть материалы в злополучной папке. Я начал читать — и уже не смог оторваться.

Неизвестный аспирант (имя его не было указано нигде — ни в тексте, ни на обложке), оказывается, интересовался ровно тем же вопросом, что и профессор Горчич: откуда пошла семиотика. Довольно быстро он пришел и к тем же начальным выводам: семиотика возникла как-то разом в годы, непосредственно предшествующие Первой мировой войне, и возникла в работах русских ученых, а именно Якубинского, Поливанова, Щербы и некоторых других, а также в работах поэтов-символистов.

Странный заговор молчания о первоисточнике новых идей как будто окутывал тайной все процитированные труды. Лакуны ощущались почти физически. Сверху они, разумеется, были наспех прикрыты штампами академического новояза, но под ногой зыбко дрожало — знак скрытой глубины. Опасность ощущалась не лексически, а на языке скорее тактильном. Автор, анализируя источники, обнаруживал слабые намеки, сходства, еле сдерживаемое желание проболтаться, неловкие утаивания и тени впечатлений — и на таком зыбком материале, подчиняя его своей не совсем понятной логике, пришел к выводу, что зерно новой науки заронил Иван Александрович Бодуэн де Куртенэ в начале десятых годов двадцатого столетия.

Вот некоторые цитаты, приведенные неизвестным аспирантом даже без указания авторов, ибо они явно говорили об одном и том же круге идей с отчетливо выраженным центром:

«Слово есть настолько средство понимать другого, насколько оно средство понимать самого себя».

«Таинственная связь слова с сущностью предмета не ограничивается одними священными словами заговоров: она остается при словах и в обыкновенной речи».

«Говорить — значит не передавать свою мысль другому, а только возбуждать в другом его собственные мысли».

«На символ переносятся свойства символизируемого. И обратно: символизируемое окрашивается цветом символа».

Далее автор записок подробнейшим образом разбирает круг первоначальных идей, постепенно сужая его. Я не в силах кратко изложить его логически изящные, но тяжеловесные грамматически построения, тем более что далеко не все термины понимал. Однако могу сказать, что чтение захватывало и подкупало внутренней убежденностью. Круги постепенно превращались в спираль, с заметным ускорением сходящую к изначальной, редуцированной до голого скелета, мысли, и автор в конце концов привел ее отдельным даже не предложением, а абзацем:

«Всякую фразу можно интерпретировать как угодно, в зависимости от множества причин».

Тут я оторвался от чтения и задумался, поскольку не был уверен, согласен ли я с таким утверждением. Поразыскав, я нашел ему мягкую интерпретацию (скажем, не просто «всякую», а «всякую достаточно общую фразу»), с которой был согласен. Странным образом это послужило иллюстрацией к самому утверждению. Отложив дальнейшие размышления на потом, я продолжил чтение.

Автор решил все-таки найти более существенные доказательства своей правоты. В поисках документальных подтверждений он обратился к архивам, вначале к вывезенным в Америку, а потом, к моему удивлению, отправился даже и в Россию. Трудно было ожидать подобного рвения от простого аспиранта — но, возможно, ему хотелось поближе прикоснуться к настоящим носителям языка.

Далее отчет приобретал характер то ли дорожного дневника, то ли очерка нравов — и читать его было забавно, хотя бы просто как документальное свидетельство стремительной эпохи 90-х годов. После начальных, с непосредственной живостью дикаря описанных мытарств наш герой получил необходимые допуски и наконец добрался до Петербурга, где и вступил не без трепета под своды местного ЦГАЛИ.

Всех этапов поиска автор не раскрывал, хотя, несомненно, они составили бы материал для добротного детектива а-ля Иракий Андроников, однако в конце концов он нашел письмо Андрея Белого Иванову-Разумнику от ноября 1910 года, которое излагает, к сожалению, своими словами, так как ксерокс не работал, а переписывать несколько страниц от руки ему было лень («запахло», как он сам пишет не без щегольства). Дословно приводит он только несколько первых фраз: «Дорогой друг, не описать, каких удивительных людей повстречал я здесь; за эти 3—4 дня как будто прошел университетский курс филологии, и читал, и разговаривал, и спорил, и размышлял больше обыкновенного втрое; наконец — познакомился с Ив. Ал. Б. де-К.».

Белый в тот момент жил на Васильевском и захаживал иногда в университет. Там-то он познакомился с кружком филологов, возглавляемым Иваном Александровичем Бодуэном де Куртенэ, пришлось им по душе и присутствие на одном странном собрании, дома у Ивана Александровича, о чем и рассказывает своему корреспонденту. Собрание было почти тайным, во всяком случае, оно не афишировалось, так как тема дискуссии была несколько рискованной — не политически, а скорее, с точки зрения приличий. Присутствовали только мужчины, в основном филологи, ученики хозяина.



## ФАНТАСТИКА

В ту пору Иван Александрович работал над четвертым изданием «Толкового словаря живого великорусского языка» Даля. Как всем известно, из предыдущих изданий бранная и непристойная лексика была исключена, но Иван Александрович против такой политики решительно возражал: «Если слово есть, оно должно быть в словаре, а как его употребить, зависит от уровня культуры говорящего». Андрей Белый с восторгом приводит рассказанный хозяином анекдот, оканчивавшийся фразой: «Как же так — жопа есть, а слова нету?» — откуда мы узнаем о весьма древнем происхождении популярной истории.

Рассказав слушателям о выделенных им корнях, гнездах и тому подобном, Бодуэн де Куртенэ перешел к самому важному, ради чего и затевался весь разговор. Разбирая пухлые дневники Даля, наткнулся он на запись, которой сам покойный мэтр, возможно, внимания и не придал, а Иван Александрович, напротив, заинтересовался чрезвычайно и размышлял над ней не один день.

Однажды Даль, возвращаясь в Петербург из очередного путешествия, приехал под вечер в богатое, но довольно-таки неустроенное село Волосово, что в нескольких десятках верст от Петербурга, и на глухом заборе дровяного склада у постоянного двора обнаружил известную матерную надпись из трех букв, сделанную дегтем. В одной из досок был глазок от выпавшего сучка, и Владимир Иванович, не удержавшись от соблазна, заглянул внутрь. Как и следовало ожидать, означенного предмета он не обнаружил — внутри лежали дрова.

Даль в дневнике приводит этот случай без особенных комментариев, только сетует на неожиданные плоды грамотности, однако Бодуэн де Куртенэ крепко призадумался, увидев в незамысловатой истории глубокий и до поры скрытый символизм.

Вот примерно, как он рассуждал, в моем вольном изложении.

Стоит на мгновение выйти из круга обыденных представлений, как человеческие поступки и рассуждения потеряют незамутненную ясность и явят наблюдателю свою неожиданную и необъяснимую суть. К примеру, кто и зачем написал краткое выразительное слово на заборе? О чем думал безвестный писатель, какую цель преследовал, какое послание миру хотел оставить? Ведь человек этот выучился грамоте; далее, он, как всякий верующий, осознавал непристойность писуемого и даже греховность своего поступка — и всё же не мог промолчать. Кроме того, где-то добывал он материалы для письма, явно в хозяйстве крестьянском не лишние, тратил драгоценное в страду время, рисковал получить тумачков от хозяина постоянного двора — и зачем?

Что вообще означает указанное слово, будучи написано на заборе? Ладно, в срамной побасенке может оно означать детородный уд, со всеми его известными функциями, то есть контекстуально оно отягощено выше всякой меры. А каков его контекст на заборе, посреди уютной и всем ветрам открытой главной улицы села, да еще рядом с постоянным двором, на котором вообще Бог весть кто останавливается, со всей великой державы, а то и из немецких и иных стран? В каком падеже слово написано — именительном или винительном? Важны ли расположение надписи относительно сторон света, высота ее (низко или на уровне глаз, а то и вовсе на недостижимой высоте), размер шрифта, тщательность или, напротив, небрежность, естественная или нарочитая? Какое отношение имеет она к самому забору, только ли он бессловесный носитель текста или важная составляющая послания, действующая на неосознанном уровне? Как связано слово с дровами? Стремился ли писатель просто оскрбить глаз проходящих или кого-то в частности? Хотел ли пробудить души соседей когнитивным диссонансом? Или стремился выразить какую-то мысль, которую иными словами выразить показалось ему долго и неточно?

Совсем по-разному звучит написанное слово, если писал его сам владелец постоянного двора, или сосед, или перехожий калика, а то и лихой человек из окрестных лесов, заглянувший на огонек. Оттенки смысла изменяются в зависимости от высоты и окраски забора, времени дня и времени года, содержимого склада за забором, чистоты или грязи на прилегающей к надписи улице, расположения ближайшей церкви, богомольности населения, богатства или бедности губернии, уж не говоря о стране нахождения. То же слово, будучи написано на стене Букингемского дворца, едва ли прозвучит с такой же грустью безысходности, но скорее с оттенком незыблемости и величия, присущими имперскому Лондону.

Итак, понял Иван Александрович, дойдя до логического конца своих рассуждений и обнаружив дальше непопаханое поле тончайших оттенков, уходящее за горизонт, не только невозможно понять смысла надписи, но его, скорее всего, и не существует. Единым махом Ивана Александровича, подобно гоголевскому герою, как будто вознесло на страшную высоту, откуда он увидел огромный, деятельно копошащийся внизу мир филологических понятий.

Он увидел, что слово есть не только символ, но и вещь, а вещь есть в то же время символ; что, говоря, мы стараемся понять себя, а не убедить других; что символика, содержащаяся в слове, окрашивает всякую вещь, к которой мы это слово приложили, — так, изрядный и крепкий забор приобретает некоторую скверность от написанного на нем срамного слова; что мы хотим сказать одно, говорим другое, а слышат люди и вовсе третье. И много чего еще он разом увидел, так что у него даже слегка закружилась голова, поскольку он ощутил себя приподнявшим завесу величайшей тайны.

Лихорадочно, чтобы не забыть главного, принялся он записывать свои сбивчивые мысли, когда понял, что откровение уже совершилось и по-старому смотреть на слова он уже более не сможет. Лишь тогда покой и радость сошли на его душу, и он вместо того, чтобы систематизировать свои рассуждения, потребовал почтовой бумаги и принялся рассылать приглашения на встречу дорогим своим ученикам и единомышленникам...

Сообщение Ивана Александровича было принято сначала с улыбкой и даже с неприличным для ученых мужей прысканьем в кулак, но довольно скоро все присутствующие окрылились новыми идеями и тут же, не расходясь, дали клятву начать научные изыскания в новой, столь чудесно явленной Бодуэну де Куртенэ области познания. Единственное, о чем просил несколько смущенный Иван Александрович, — не рассказывать, из какого источника так бурно забили новые идеи, чтобы не стать жертвой зубоскальства, особенно со стороны московских филологов во главе с уважаемым Филиппом Федоровичем Фортунатовым.

Андрей Белый, подробно рассказывая другу о достопамятном вечере, добавлял в конце: «Знаю, что ты не раскроешь тайны; только потому — и потому, что больше никому не стал бы, — рассказываю тебе».

Итак, резюмирует наш аспирант, источником и корнем семиотики следует считать традиционное слово, написанное на заборе дровяного склада близ постоянного двора в селе Волосово и попавшееся, волею Провидения, на глаза Далю. Сделав такой вывод, автор отправился в указанное село в надежде найти первоисточник и хотя бы сфотографировать его.

Подивившись наивности американского аспиранта, предполагавшего, что в российском селе полтора года простоит дровяной склад, я перелистнул страницу. На последних трех листочках, вырванных, судя по всему, из общей тетради, автор рассказывал со всеми подробностями и не без юмора, как доехал он на рейсовом автобусе до Волосова, как долго расспрашивал местных жителей о местонахождении постоянного двора и в ответ слышал искомое слово в различных комбинациях, которые он тут же записывал в блокнот; как блокнот у него отобрали и чуть было не набили морду, однако, распознав в нем иностранца, свели в отделение милиции; как милиционеры, вместо того чтобы взять у него взятку («vzyatka», так и пишет автор), отвели его в горсовет к архивариусу и сей почтенный джентльмен препроводил его к находящейся неподалеку четырехэтажной гостинице, сообщив, что построена она на месте Дома колхозника, который, в свою очередь, был возведен в 30-е годы на месте постоянного двора.

Самой же удивительной находкой его оказался стоявший рядом с гостиницей склад горюче-смазочных материалов, на грязно-белой бетонной стене которого было написано: «X@Й» (орфография подлинника сохранена).

Автор был поражен проникновением новой символики в жизнь селян и скромно предположил в заключение, что семиотика готова сделать новый виток в своем взлете, уже на основе глобальных информационных технологий.

Что еще могу я добавить к моему рассказу? И дядюшка, и друг его профессор Горчич немало были изумлены собранным материалом, однако мы не только так никогда и не нашли загадочного аспиранта в черном одеянии, но даже и не узнали, кто именно был его научным руководителем. А благодаря скверной привычке незнакомца не давать ссылок на использованный материал, мы также не смогли отыскать необходимого письма. Таким образом, история семиотики все еще ждет своего официального создателя.

